

И. А. БУНИН

Не балует судьба долголетием русских писателей. Исполнившееся 75-летие И. А. Бунина — редкий праздник в русской литературе. И особенно радостен этот праздник потому, что 75-летие застало писателя творчески еще неоскудевшим. Среди последних рассказов-миниатюр Бунина есть вещи такого совершенного психологического рисунка и такой словесной отделки, что они кажутся хрупкими драгоценными статуэтками, их хочется заключить под стекло, иметь всегда поблизости, потому что они помогают думать над тем большим, волнующим и вечным, что составляет душу искусства.

В свете теперь достигнутого Буниным мастерства порой теряют его ранние вещи: некоторые из своих первых рассказов сегодняшний Бунин написал бы вероятно еще сдержаннее и сильнее. Читая последние его новеллы чувствуешь, сколько еще невоплощенного хранится в душе художника.

В силу разных и сложных причин творчество Бунина мало исследовано; по литературному «хозяйству» писателя приходится ходить почти без провожатых. И это, может быть, к лучшему. Ведь прав Ф. Степун: Бунина надо читать очень медленно, потому что человек в бунинском творчестве присутствует, «как природная глубина», с этим человеком хочется быть с глазу на глаз.

Большое место в творческом мире Бунина занимает сад. С ним связаны его первые, младенческие впечатления бытия. «В тумане моего прошлого есть один далекий день, который я вспоминаю особенно часто», — пишет Бунин в раннем своем рассказе «У истока дней»: — «Я вижу большую комнату в бревенчатом флигеле на хуторе средней России. Одно окно этой комнаты — на юг, на солнце, два других — на запад, в вишневый сад». Сад этот особенный: не строго разбитый английский парк и не французский, обнесенный плотной каменной оградой, а русский, забор в нем больше символ, местами он вовсе отсутствует, поля наступают на сад, сад словно плавает в великой глуши и тишине. К этому саду Бунин возвращается и позже в «Жизни Арсеньева». Зимой сад окружен «безграничным снежным морем, летом — морем хлебов, трав, цветов». «И вечная тишина этих полей, их загадочное и безответное молчание... Глубина летнего вечернего неба, за-

думчивая даль полей говорили мне о чем-то ином, как бы существующем помимо их, вызывали мечту и тоску о чем-то недостигаемом, трогали непонятной любовью и нежностью, неизвестно к кому и чему...»

Эти смутные чувства любви и нежности сперва естественно сосредоточились на родных. И к отцу, и к матери Бунин был привязан одинаково сильно. Это редко встречается в жизни людей и особенно редко — вспомним детство Пушкина, Лермонтова, Тургенева — в биографии писателей. В этом, неизнуренном конфликтом, чувстве к обоим родителям лежит может быть тайна бунинской гармоничности. Чувство привязанности к обоим родителям не омрачилось и позже, когда юный Бунин разглядел и большие недостатки своего отца, натуры незаурядной, вспыльчивой, но легкомысленной. Отец его умудрился промотать на своем веку несколько наследств, не только свое состояние, но и наследство своей жены. Сознание своей бедности доставило юному Бунину немало горьких минут. Когда однажды брат Алексея Арсеньева (двойника Бунина), заговорив с ним о будущем, намекнул, что придется ему поступить на службу, на почту, жениться и копить деньги, чтобы купить себе домик, Алексей «вдруг так живо почувствовал весь ужас и всю низость подобного будущего, что горько разрыдался». Часто думал молодой Арсеньев о молодости своего отца и сравнивал ее со своей. Отец Арсеньева имел все, а ему, «собираясь в гости, нужно было надевать тот самый серенький пиджачек брата Георгия, в котором некогда везли его в тюрьму в Харьков, и за который я в гостях мучился острым стыдом». Хотя Алексей и был лишен «чувства собственности», но как мечтал он порой о богатстве, «о прекрасной роскоши, о всяческой свободе и всех телесных и душевных радостях, сопряженных с ними». В юности своей, вспоминает Арсеньев, он был так беден, что не мог себе позволить осуществить «свою жалкую заветную мечту» — купить хорошую записную книжку: «это было тем более горько, что, казалось, от этой книжки зависит многое — вся бы жизнь пошла как-то иначе, более бодро и деятельно, потому что мало-ли что можно было написать в нее». Но, хотя Бунин рано понял, кто «двел семью до сумы», это несколько не отразилось на его чувствах к отцу. И, хотя переживания, связанные с бедностью, занимали, как видно из «Жизни Арсеньева», большое место в душе молодого Бунина, он долго избегал разработки этой темы о стэндалевском герое, вынужденном отвоевывать свое место под солнцем. Порой очень горькие думы Арсеньева смягчаются сознанием своей принадлежности к старинному роду, происхожде-

ние которого «теряется во мраке времени» и тем, что неожиданно тонко подметил в нем купец Балавин: «мечтаниями в даль простираетесь».

Среди более поздних рассказов Бунина есть, кажется, только один, где эта тема бедности образует сюжетный узел. Это — «Молодость». Герой этого рассказа — студент, даже не имеющий имени. «Студент был с большим, ровным носом, весь как бы деревянный, прямоугольный, высокий, носил длинный, широкоплечий сюртук темнозеленого сукна». Его можно было встретить в гостиных богатых домов, кое с кем из представителей золотой молодежи он был на «ты». Но его личной жизни никто не знал. Разведал о ней товарищ юности студента по пензенской гимназии, приехавший в Петербург и, «с настойчивостью провинциала», разыскавший его. Студент жил в большом доме во дворе, далеко от центра города, в маленькой, очень бедной комнате. Наряду с бедностью поражала в комнате щепетильная чистота: постель была застлана без единой морщинки, на столе — идеальный порядок, на распялке висел все тот-же широкоплечий сюртук из темнозеленого сукна. «И был студент дома вовсе не такой, как в свете, в гостиных: приветлив, но сух, серьезно-грустен. И все поглядывал куда-то в свое холодное окно. За окном-же, с семиэтажной высоты, было далеко видно: плоско белели бесконечные снежные пустыни, — нечто столь скучное, ненужное, что возможно только возле Петербурга». Читатель живо чувствует, что эта «Молодость» — только запов, заявка на сюжет, который еще ждет совсем иного воплощения.

Бедность не искалечила души юного Арсеньева, может быть, потому, что он видел ее всюду вокруг: «Все было бедно, убого и глухо кругом! Я ехал большой дорогой — и дивился ее заброшенности, пустынности. Ехал проселками, проезжал деревушки, усадьбы: какие избы, какие усадьбы и какая жалкая бессмысленная жизнь в них! Хоть шаром покати не только в полях, на грязных дорогах, но и на таких же грязных деревенских улицах и на пустых усадебных дворах. Даже непонятно, да где-же люди и чем убивают они свою осеннюю скуку, безделье, сидя по этим избам и усадьбам».

В свете окружающей обстановки семья Арсеньевых была не так уж бедна. К тому же семья была культурна и при всей растущей нужде, жизнь в ней «шла все тем-же поэтически-счастливым порядком, как и подобало это последнему и беспечнейшему потомку 'друзей поэзии, мечтания, природы' — и поэтической книги». Страсть к книгам во впечатлительном и мечтательном отроке развилась очень рано. Этому способ-

ствовала не только мать, но и воспитатель Алексея Арсеньева, человек очень разносторонний, талантливый, но неудачник. В «Жизни Арсеньева» он воплощен в образе Баскакова.

Чем больше беднел быт Арсеньевых, тем дороже он становился юноше: «Порой — вспоминает он — я даже как-то странно радовался этой бедности... может быть потому, что и в этом находил некоторую близость с Пушкиным, дом которого, по описанию поэта Языкова, являл картину тоже далеко не богатую». Бедная юность Арсеньева-Бунина проходила в местах знаменитых писательских гнезд. Неподалеку от хутора Буниных расположено было бывшее родовое поместье отца Лермонтова — Кроптовка. Посещая уже никем необитаемый дом в Кроптовке, Арсеньев всегда с грустью думал: «Вот бедная колыбель его, наша общая с ним, вот его начальные дни, когда так же смутно, как и у меня, некогда томилась его младенческая душа 'желанием чудным полна', и первые его стихи, столь же, как и мои, беспомощные».

Не только Лермонтов, но и Пушкин, Баратынский, Тургенев, Толстой юным Арсеньевым воспринимались вовсе не как книги. Некоторые из них были «подлинной частью моей жизни». Когда мать Арсеньева «с грустной и ласковой улыбкой читала 'Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел'», Алеша, восторгнувшись спрашивал: «С каким гусаром, мама? С покойным дяденькой?»

Ощущение своей бедности стало болезненным позже, при поступлении в гимназию, когда Алексей Арсеньев был помещен в семью Елецкого мещанина Ростовцева (в действительности его звали Бякиным). «Как ужасно было начало этой жизни! — вспоминает Арсеньев — Уж одно то, что это был мой первый городской вечер, первый после разлуки с отцом и матерью, первый в полном одиночестве, да еще в совершенно новой и убогой обстановке в двух тесных комнатах, в среде до нелепости чужой и чуждой мне, с людьми, которых я, барчук, считал, конечно, очень низкими и которые однако вдруг приобрели даже некоторую власть надо мною, — уже одно это было ужасно». На всю жизнь запомнил мальчик Арсеньев замечание Ростовцева за первым ужином, который показался ребенку ужасно невкусным: «Надо ко всему привыкать, барчук. Мы люди простые, русские, едим пряники неписанные, у нас разносолов нету». Здесь в городе и в семье Ростовцева впервые соприкоснулся ребенок с бытом городского мещанства и на всю жизнь затаил неприязнь к нему. Нетрудно представить себе, каким волшебным праздником, граничащим со сном, были для ребенка редкие приезды в город

отца, когда на один-два дня он переселялся из этой убогой обстановки в самую лучшую гостиницу города, где всегда останавливались дворяне. С каким восторгом обонял он запах этой гостиницы, впитывал в себя услужливые улыбки лакеев, швейцаров, запечатлевал дежуривших у подъезда личачей, какой восторг вызывала в нем широкая натура отца с его пусть безалаберным, но таким жизнелюбивым мотовством.

Да, это были два мира: мир, в котором жил Ростовцев — умеренный, рассчетливый (с долгами — из-за экономии кесросина — сумерками) и мир отца-прожигателя жизни — блестящий, феерический, с огнями, хрустящими салфетками, игрой хрусталей. Праздник длился только несколько дней, возвращение в мир Ростовцева, с темными сенями, капающим рукомойником в кухне, было срывом. Здесь, в городе, под действием этих резких переходов от света к тьме душа молодого Арсеньева и получила ту травму, которая долго мучила.

Быт Ростовцевых молодой Арсеньев отвергал со свирепой страстью подростка. Из протеста против Ростовцевых он даже чуть не стал членом какого-то кружка гимназистов-дворян, желавших держаться отдельно «от всяких Архиповых и Заусайловых». К счастью, случайные обстоятельства оборвали связь Арсеньева с этим «кружком». Но неприязнь к мещанству, к торгующему, деловому городу осталась в Арсеньеве жить долго.

И только много, много лет спустя, вернувшись в «Жизни Арсеньева» к истокам своих воспоминаний, Бунин впервые переосмыслил Ростовцева, понял, что семья эта — трудовая, опрятная, крепкая, была вовсе не плоха. Но старые воспоминания — живучи. Это сказывается в двойственности обрисовки Ростовцева и его семьи. Их жизнь кажется и позднему Бунину мизерной. С другой стороны, Бунин теперь чувствует, что за «русской ладностью» всей фигуры Ростовцева скрыта была неведомая ему жизнь городской России, тяжело бившейся в тисках старого, несправного быта. У этой городской России, у этого мещанства были не только скверность, грязь, недоброжелательство, были свои мечты, свои идеалы. Это обнаруживается в одной сцене: Ростовцев часто интересовался тем, какие стихи учат дети в гимназии, многие из них он не одобрял. Но вот однажды Алексей Арсеньев прочитал ему Никитина «Под большим шатром голубых небес, вижу, даль степей расстилается». «Это было — вспоминает Арсеньев — широкое и восторженное описание великого простора, великих и разнообразных богатств, сил и дел России».

И вот, когда Арсеньев дошел до «гордого и радостного конца: 'Это ты, Русь державная, моя родина православная' — Ростовцев сжимал челюсти и бледнел. Да, вот это стихи — говорил он, открывая глаза, стараясь быть спокойным, поднимаясь и уходя. Вот это надо покрепче учить! И ведь кто писал-то? Наш брат мещанин, земляк наш». Подростка Арсеньева поразила «гордость» в словах Ростовцева: «Гордость чем? Тем, конечно, что мы, Ростовцевы, русские, подлинные русские, что мы живем той совсем особой, простой, с виду скромной жизнью, которая и есть настоящая русская жизнь и лучше которой нет и не может быть, ибо ведь скромна то она только с виду... а Россия богаче, сильнее, праведней и славней всех стран в мире». А молодой Арсеньев в своих прогулках по городу видел оборотную сторону медали русской жизни, ее чуждость и некультурность. Позже — признается Бунин — он увидел, что было в этой гордости Ростовцева «некоторое знамение времени», что ему, Бунину, довелось провести юность «во времена величайшей русской силы и огромного сознания ее» и он только недоуменно спрашивает: «Куда она девалась позже, когда Россия гибла?» Почему ее не отстояли Ростовцевы и все «мы»? Однако тогда, в дни юности, встречаясь с крепкими носителями предреволюционной России, Бунин отталкивался от них, не проявляя к ним того интереса и влечения, которое характерно было для молодого Горького. Молодой Бунин оставался внутренне чужд городу. В этом немалую роль сыграло ощущение своей бедности, которую он не чувствовал, живя в деревне. Как родной сад незаметно переходил в поля и смешивался с ними, так дворянское оскудение Арсеньевых смешивалось с нищетой деревни. Позже, в порыве нахлынувших чувств Бунин даже воскликнул в «Суходоле»: «Были на Руси мужики богатые, были мужики нищие, — величали одних господишками, а других холопами — вот и разница вся. Кровь Хрущевых мешалась с кровью дворян и деревни покоен веку... Давно, давно пора Хрущевым посчитаться родней со своей дворней и деревней!»

Может быть потому, что Арсеньев-Бунин вырос среди «крайнего дворянского оскудения», его не затронули настроения «кающихся дворян» предыдущего поколения. Алексей Арсеньев замечает даже с некоторым вызовом: «Никакого долга перед народом я никогда не чувствовал и не чувствую. Ни жертвовать собой за народ, ни 'служить' ему, ни играть, как говорит отец, в партии и в опросы на земских собраниях я не могу и не хочу». Молодой Арсеньев все ярче осознавал

себя поэтом и некоторые его вещи к концу его усадебной жизни уже появились в столичных журналах. Когда настало время улететь из рассыпавшегося арсеньевского гнезда, он поехал к брату в Харьков. Брат этот, «вечный студент», работал в земской статистике и был связан с той средой молодой радикальной интеллигенции, которая была чужда Арсеньеву. По его наблюдениям, люди в этой среде, при всем своем индивидуальном различии, «исповедывали нечто достаточно несложное; люди — это только мы да всякие 'униженные и оскорбленные', все злое — направо, все доброе — налево...» Но выбора у него тогда не было, да он и сознавал, что «если и есть многое, что совсем не по мне в моем новом кругу, то очень и очень многое будет и в других кругах не по мне еще более, ибо что общего было у меня, например, с купцами, с чиновниками?» Именно эта среда радикально-настроенной интеллигенции и обеспечила Бунину-поэту его первую популярность. Но подлинную славу создал себе Бунин не стихами, а рассказами из жизни деревни.

В свете того, что он сам рассказал о себе в своих произведениях, незачем сегодня вспоминать старые споры о том, был ли Бунин «народником», «марксистом» или «певцом умирающей усадьбы». Все эти ярлыки не покрывают действительного содержания произведений Бунина о деревне, которую Бунин знал, может быть так, как немногие из писателей его поколения и последующего поколения писателей революции. Очень интересное свидетельство о впечатлении, производимом Буниным на крестьян, принес Максим Горький в своих воспоминаниях о писателе Иване Вольнове («Красная Новь», 1931 г.).

С социалистом-революционером из крестьян, впоследствии небезизвестным писателем Иваном Вольновым, Горький познакомился еще до революции, на Капри, куда Вольнов приехал после побега из Сибири. Здесь в это время находилось много молодых писателей — Н. Олигер, Тимофеев, часто наезжал Бунин с женой. Много было в то время споров вокруг литературных новинок, разговоров о будущей неминуемой революции. Вольнов сам говорил мало, больше слушал и потом делился своими впечатлениями с Горьким. Очень угнетало Вольнова, что после крестьянских бунтов 1905 года в радикальной интеллигенции стало намечаться охлаждение к крестьянству, чувствовался испуг перед деревней. Вольнов понимал, что писать о деревне надо правду, но, усмехаясь и встряхивая тяжелой головой, он признавался, что сам с этой правдой «не в ладах», так как боится способствовать дальней-

шему отчуждению интеллигенции от крестьянства. «Вот Бунин — говорил он — ему легко, не о своих пишет. Он вышивает золотом по черному, ну и себе приятно, и людям удовольствие. И поучительно: читают люди — думают: вот какие черти-звери в Орловской губернии живут. Стоит ли о таких чертях заботиться». Вместе с тем — замечает Горький от себя, «Бунин был автором, который наиболее увлекал и волновал Вольнова. 'Золотое перо' — говорил Вольнов, вздыхая и смущаясь тем, что похвалил врага, и добавлял: 'А видно, что лаптей не носил, сена не косил, земли не пахал. Шапкой пахарю махал'. И снова хвалил: 'Замечательный писатель. Вот бы этак-то научиться!' вздыхал он и, закрыв глаза, встряхивая шапкой спутанных волос, читал на память, точно стихи: 'О, какая тоска была на этой пустынной, бесконечной дороге, в этой мертвой деревне, молча стоявшей на краю ее...'. Особенно нравилась Вольнову, но и «возмущала» Бунинская «Деревня». «Он читал на память почти целые страницы, читая всегда вполголоса и медленно, прислушиваясь к суховатому и строгому звучанию слов Бунинской речи. Прочитает и, помолчав, скажет: 'Просто как! А за сердце берет'». Очень восхищался Вольнов маленьким рассказом «Захар Воробьев»: «Это — на сто лет! говорил он — Революцию сделаем, республика будет, а рассказ этот не выдохнется, в школах будут читать, чтобы дети знали до чего просто, при царях, хорошие мужики погибали».

«Сто лет» проживет не только «Захар Воробьев». Волновать будет вся та огромная крестьянская, провинциальная бунинская Россия, которая смутно чувствовала, что так дальше жить нельзя, что должно что-то произойти. Всегда будет волновать акварельная нежность бунинских красок, которыми он рисовал русскую природу и на ее фоне нищих людей, побирушек, бродяг, одинаково хватающих за душу и своей темнотой, и сердечной зоркостью своих чувств, и своеобразной глубиной своих мыслей. Навсегда останется бунинский язык, послушанный художником у народа, но прошедший сквозь обработку собственного его сердца. Сколько тихих, лесных, прозрачно-звонящих словесных ручьев, неизвестно где начавшихся, донес Бунин до читателей! Вслушиваясь в эти, серебром звенящие, народные словосочетания, читатель вдруг останавливается, откладывает книгу, и перед ним оживают во всей своей неповторимости родные просторы. И в возникшей тишине сердца слышит он, как распускает хлебный рыжий жучек свою палевую юбочку и умирает человек, мудро глядящий в глаза смерти.

Октябрьскую революцию Бунин переживал мучительно и долго. Следы этих дум и чувств запечатлены в «Окаянных днях». Как не вспомнить тут другого большого писателя — Александра Блока, который тоже видел и остро переживал «эксцессы» революции, но видел за ними и другое — «миллионы голодных, истрадававшихся глаз, которые видали, как гарцовал статный, и кормленный барин»...

Советские публицисты воспользовались «Окаянными днями», чтобы характеризовать Бунина, как «помещика», пышущего злобой против народа и клеветующего на Россию. Но при всем том и они понимали, что невозможно вычеркнуть Бунина из русской литературы. Во время Нэпа в Советской России были переизданы некоторые произведения Бунина («Деревня», «Суходол», воспоминания о Чехове и Толстом, «Господин из Сан-Франциско», ранние рассказы и из эмигрантского периода — «Митина любовь»).

По-прежнему исключительно высоко ценил Бунина Горький. Года три назад в России опубликованы первые томы «Литературного Архива М. Горького». В письмах Горького к начинающим писателям и до, и во время революции, Горький неизменно рекомендует учиться у Тургенева, Лескова, Чехова, Короленко и Бунина.

К счастью для русской литературы Бунин смог не только найти выход из тупика своих дум об «Окаянных днях», но и написал в эмиграции такие произведения как «Жизнь Арсеньева», «Митина любовь», «Божье дерево», «Темные аллеи».

Присуждение Бунину Нобелевской премии было воспринято в эмиграции, как большой праздник. Напомню отзыв об этом событии редакции «Современных Записок»: «Мы не принадлежим к тем, которые хотят провести непроходимую черту между литературой советской России и литературой эмиграции... Мы радуемся, когда несмотря на замутнение всех источников творчества и отсутствие свободы, мы встречаем выдающиеся произведения т а м. Но мы знаем, что для истинно высокого творчества необходима свобода, которую мы храним з д е с ь». Присуждение Бунину Нобелевской премии — «это признание ценности свободного эмигрантского слова».

Чем зрелый художник, творец «Митиной любви» и «Божьего дерева» превзошел дореволюционного Бунина? Есть у Бунина маленький рассказ «Роза Иерихона». В нем Бунин рассказывает, что в знак веры в жизнь вечную был на востоке обычай класть в гробы и могилы «Розу Иерихона». Долго Бунину казалось странным, что розой назвали клубок сухих и

колючих стеблей, подобный русскому перекасти-полю. Но этот клубок сухих стеблей обладает одним воистину чудесным свойством: сорванный благочестивым странником и унесенный за тысячи верст от своей родины, этот клубок многие годы может лежать серым, мертвым комком. Но, поставленный в воду, он быстро начинает зеленеть, распускаться и дает не только зеленые листочки, но и бледнорозовый цвет. И, глядя на таинственно распустившуюся вдали от родины «Розу Иерихона», радуется сердце человеческое: «Нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил и дышал когда-то! Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя Любовь и Память!»

Такой клубок сухих стеблей волчка, или, может быть, Богородичного Цветка, унес с собой Бунин. И каждый раз, окуная в творческую влагу сухие стебли, оживает Богородичный Цветок, цветом, красками, словами разнося в мире весть о бессмертии настоящего искусства.

В своих маленьких рассказах Бунин продолжает и совершенствует тургеневскую традицию «Стихотворений в прозе». Их нельзя пересказывать:

Б р о д я г а

«Поле и летнее утро, дружно несет тройка. А вдоль шоссе, навстречу странник: без шапки, босой и такой лепконогий, как будто на крыльях. Поровнялся, мелькнул и пропал. Худ и старчески сух, веет длинными выгоревшими на солнце волосами. Но как легок, как молод! Какой живой, быстрый взгляд! И сколько у него впереди этих белых шоссежных дорог. 'Бог бродягу не старит'». А вот снимок с натуры, в нескольких словах передающая все краски картин Кустодиева:

К а п и т а л

«Квасник, лысый, красный, тугопузый, лихо кричит тенором на всю ярмарку: 'Вот квасок, попыривает в носок! Вот кипит, да некому пить!' — Высокий русский мужик в теплой шапке на затылок идет в толпе с опромненным белым хлебом подмышкой и на ходу набивает им рот, жует, откидывая голову назад, раздувая ноздри. — 'А почему этот квасок? — Орел бутылка, семитка — стакан. — А на грош не отольешь? — На грош, милый, и воробей не мочится!' — Мужик жует, думает. Потом со вздохом, но твердо: 'Нет, не взойду. Капитал не дозволяет!'».

Среди этих миниатюр многие заражают читателя уверенностью, что художник вернется к ним, развернет сюжет:

М а р ь я

«В избе, после сытного, праздничного обеда. Все наряжены. Работники в сапогах, в чистых рубахах, подстрижены, с красными, подбритыми шеями. Рычат, ловко ладят две ливенки. Илюшка и Наташа ходят друг перед другом, постукивают каблуками, не глядя друг на друга.

— Марья, а ты что-ж сидишь? Не отвечает, с сумрачной усмешкой щелкает подсолнухи. — Ну хоть выходку сделай! Мотает головой, исподлобья поглядывает на пляшущих своими далеко расставленными, в переносицу косящими черными глазами. И вдруг встает, поправляет платок на плечах... Ах, Бог мой, как пошла! Нехороша, немолода, невелика, костиста, а у всех восхищенно замирает сердце: какая сжатость, сила страсти и какой оттого пушистый блеск, точность движения! Илюша раздувает ноздри, дробит в пол каблуками, наступает:

Ух, сыпь чаще,

Подавай слаще!

Она плывет мимо, отвечает небрежно, вскользь, как неживая:

Я ходила подавала,

А тебе все мало, мало...»



Высоким, стройным кленом стоит Бунин-художник в аллее огромного разросшегося сада русской литературы, рядом с ее самыми могучими исполинами. Далеко вверху, где простерты их кроны, стоит немолчный шелест о вечной России.

В. Александрова

ЮБИЛЕЙ БУНИНА

Ивану Алексеевичу Бунину исполнилось 75 лет. Статья В. А. Александровой не первая о нем в «Новом Журнале» и, конечно, не последняя. Критики разных взглядов вносят каждый свое в дело изучения книг нашего знаменитого писателя. Но все сходятся в том, что он гордость и украшение русской литературы. Его юбилей — ее большой праздник.

Редакция